

Николай Добролюбов

Весна



Николай Александрович Добролюбов

Весна

В рецензии на эклектичный по составу сборник «Весна» Добролюбов продолжил полемику с «сибаритским» направлением «чистого искусства» и одновременно с либеральной идеологией. Критик высказал также свое отношение к проблеме централизации государственной власти в России, обсуждавшейся в это время в исторической литературе. Вслед за Чернышевским Добролюбов занимает позицию, отличную от либеральной историографии, признававшей прогрессивность централизации. Добролюбов предлагает иной критерий оценки исторически сложившихся государственных систем: насколько они «устроивают благосостояние народа и приходится ему по духу и по нраву».

Содержание

#1	0005
Примечания	0049

**Николай Александрович
Добролюбов
Весна**

*Литературный сборник на 1859 год.
СПб., 1859*

Двое Ахшарумовых, Юл. Жуковский и И. Юрьев соединили труды свои и издали книгу, довольно толстую и разнообразную. В предисловии к ней г. Н. Ахшарумов заявляет, что участники сборника не хотят «стать под знамя какой-нибудь партии и сделаться представителями какого-нибудь известного, исключительного направления, а являются под *общим* знаменем русской литературы». И действительно, статьи, помещенные в «Весне», имеют общего только то, что все, как написанные по-русски, должны быть причислены к русской литературе. Один из Ахшарумовых – критик, поборник чистого искусства; другой – поэт, не выражающий резко определенного направления; г. Юрьев – мелодрамный романтик, воспевающий рыцарское благородство и гонения рока на пылкую любовь; г. Жуковский – тоже отчасти романтик и тоже с примесью мелодрамы, но только в сфере петербургских чиновников и камелий. Как видите, «Весна» очень разнообразна и не лишена занимательности. В самом деле – исключая некоторых из стихотворений г. Вл. Ахшарумова да статьи г. Н. Ахшарумова о «Воспи-

таннице» Островского – нельзя ни об одной статье сборника сказать, чтобы она уж вовсе никуда не годилась. Всех слабее оказывается критик «Весны» г. Н. Ахшарумов. На 55 страницах рассуждает он о романе «Тысяча душ», убиваясь над доказыванием того, что в этом романе нет какой-то художественной перспективы и гармонии или еще чего-то в этом роде. Статья пересыпана весьма глубокими и верными афоризмами в таком роде:

Критика должна вытекать из сущности предмета своего, а не из чего-нибудь постороннего (стр. 293).

Герой романа должен быть в высшей степени интересен, и в этом состоит, с позволения сказать (вы думаете, что за этим какое-нибудь неприличное слово следует? Нет, ничего), – все его геройство (стр. 299).

Тип Калиновича, для своей художественной красоты, не нуждается ни в каких оправданиях; со всеми своими нравственными противоречиями он имеет право явиться в романе, ни перед кем не извиняясь (стр. 299).

Все в жизни имеет свое последовательное развитие (какая глубокая

мысль!); и резкие особенности характера возникают не взмахом магического жезла, а постепенно слагаются и образуются и постепенно доходят до крайних своих результатов (стр. 299).

Чем может выразить себя здоровье? так же, как истинная красота, оно не имеет в себе никаких резких и поразительных особенностей. Оно не имеет своей патологии (патология здоровья!!), своих припадков, и симптомов, и странностей. В нем нет ничего удивительного, потому что оно в существе своем просто нормально... и пр. (стр. 316).

Реальная школа убивает дух и анатомирует тело природы: она гонит из нее идею и мысль (стр. 336).

За увлечение реальной школою и достается г. Писемскому от строгого критика! По мнению г. Ахшарумова, все недостатки «Тысячи душ» происходят от ядовитого влияния реальной школы, от порабощения искусства идее. Когда припомнишь содержание и развитие романа г. Писемского и вообще характер его литературной деятельности, да потом вник-

нешь в смысл замечания г. Ахшарумова, то невольно подивишься тому, как метко попал критик... Бывают же такие тонкие люди, что так вот сейчас и смекнут, в чем дело!

Впрочем, в статье г. Ахшарумова о «Тысяче душ» есть несколько очень верных замечаний относительно художественной фальшивости характера Калиновича[1].

Есть несколько замечаний, с которыми можно согласиться, и в статье о «Дворянском гнезде» Тургенева, хоть вся она совершенно ложна в своем основании, признавая, что сущность повести Тургенева, заключается в изображении характера Лизы[2], и хотя в ней попадают такие милые вещи: «Для эпического интереса в «Дворянском гнезде» отведено особое поле родословных и ретроспективных взглядов на предыдущую историю лиц, и по этому полю он постоянно *пятится раком*» (стр. 371).

Но совершенное отсутствие критического такта нашли мы в статье о «Воспитаннице». Критик упрекает Островского – в чем бы вы думали?.. – в том, что он *представил не идиллию*, что изобразил только *грязные пятна*

жизни, а не самую жизнь; что все его лица, кроме Нади, – «вовсе не лица, а какие-то отвлеченные, перегнанные и фильтрованные дозы разного рода человеческой грязи, от которых на душе у читателя остается самое тяжелое и неприятное впечатление» (стр. 351).

Могло ли до сих пор кому-нибудь прийти в голову, чтобы Островского можно было упрекнуть в отвлеченности и безличности создаваемых им образов? Но для г. Ахшарумова нипочем такой отважный подвиг. Напечатавши в прошлом году грозную статью «О порабощении искусства»[3], он уже может быть уверен, что никакою выходкой, как бы она ни противоречила здравому смыслу, не может удивить публику.

Не можем расстаться с эксцентрическим критиком, не указавши на то, к чему приводит милая теория непорабощенного искусства. Поклонники ее наконец начинают проговариваться о том, что до сих пор тщательно скрывали, но что еще Державин говорил о них, то есть что

*Поэзия для них любезна,
Как летом вкусный лимонад[4].*

Так, г. Ахшарумов объявляет между прочим, что на литературу смотрит он как на «средство рассеять свою тоску и горе».

Он (г. Ахшарумов говорит здесь о читателях, подобных ему) берет в руки роман, комедию или драму, желая вырваться хоть на минутку из той удушливой атмосферы страдания, недуга, которая так часто обхватывает его со всех сторон. В них думает он найти тот свет и простор и тот свежий воздух, которые так сильно нужны ему для его утешения... и пр. Представьте же себе его удивление и ужас, когда роман, комедия и драма наперерыв спешат возразить ему, что все это глупые, детские мечты или фантазии из тысячи одной ночи, и что он должен привыкать к больнице, потому что она есть вечный удел его на земле, и что действительность с поэтическим ее элементом искони-де находится в полном, непримиримом противоречии, и что дело искусства подметить это противоречие и выставить его в полном объеме, а не льстить человеку, лаская его несбыточными воплощениями самодельных

идеалов. Боже милостивый! Неужели же это правда? (стр. 351).

При таком воззрении на искусство, которое можно называть не чистым, а скорее *сибаритским*, не мудрено, что г. Ахшарумов возмущается комедию г. Островского, находя, что «эссенции и экстракты, явившиеся в ней вместо характеров, *отравили художественную сторону эффекта*» (стр. 356)[5].

Другой Ахшарумов – поэт – имеет более уважения к идее, как видно из некоторых его стихотворений. Вообще стихотворения незамечательны, ровно как и литовские песни, переведенные г. Ахшарумовым. Но есть у него и недурные стихи, в которых мелькает искреннее чувство. Приведем маленькое стихотворение, мысль которого нам постоянно нравится (стр. 151):

*Пускай грозит и гонит свет!
Для непреклонных убеждений,
Для пылких сердца увлечений
Смешон чужой авторитет.
Куда б они ни привели,
Тот прав, кто жил согласно с ни-
ми,*

*Хотя законами земными
Казнится бедный сын земли!..*

Две повести, напечатанные в «Весне», совершенно противоречат направлению г. Ахшарумова-критика. Обе они принадлежат к *отрицательному*, или, как их называет «Утро» московское, к *утилитарному* направлению[6]. Повесть г. Юрьева «Свадьба» содержит в себе историю о том, как сын одного богатого помещика влюбился в воспитанницу, выросшую вместе с ним, отверг графиню, предложенную ему в замужество отцом, и как за то крутой старик-отец его отдал свою воспитанницу замуж за мужика из своей деревни. Как один из ужасных случаев, возможность которых обуславливается уничтожаемым ныне крепостным правом, факт этот сам по себе представляет тему очень благородную. Но, к сожалению, мы еще так близки к крепостному праву, что не осмеливаемся изображать его такими яркими чертами, каких оно заслуживает. Пишут много, но все еще с какою-то оглядкою, с опасением, чтобы кто-нибудь не рассердился; поэтому вместо настоящей правды и дельных изображений

ограничиваются все больше намеками. Обстоятельство это печально всего более потому, что доказывает, что мы еще далеко не расстались с крепостным правом, что дух его еще обитает в большинстве нашего общества и связывает руки писателю. Так и в повести г. Юрьева мы видам много недосказанного и утаенного. В «Свадьбе» рисуется старик-помещик, упрекающий сына за то, что тот говорит лакею: *пожалуйста*, – вне себя от ярости бьющий нагайкой крепостного охотника за то, что тот немножко попортил заячью шкуру, рассуждающий так: «Я тебе говорю, – ты мужика не знаешь, ты все с ним разговаривать хочешь, урезонивать его, а это ему как стене горох; *нет, ты его ткни, так он тебя и поймет*» (стр. 171). Какая великолепная вещь могла бы выйти из полного и широкого развития одного этого характера, рожденного, сложившегося и проявляющего себя в крепостных отношениях! Подробное изображение этого характера и его обстановки необходимо было в этой повести даже с чисто художественной точки зрения, не говоря об общественном интересе. Поступок старика с вос-

питанницею, любимую им и ни в чем не виноватою, легкость его исполнения, безгласие всех окружающих, начиная с жениха и до священника, который венчал эту свадьбу, – все это требовало предварительной подготовки и обстоятельных объяснений со стороны автора; в целом ряде картин, в целой цепи эпизодов, в целом широком и смелом очерке должен был автор представить нам всю эту жизнь для того, чтобы нам показалась вполне естественною, понятною и необходимою та развязка, которою оканчивается его повесть. К сожалению, он почти ничего для этого не сделал, – по слабости ли сил своих или по каким-нибудь внешним препятствиям, не зависевшим от его воли, – не знаем... Во всяком случае – несомненно то, что повесть от этого очень много проиграла и в настоящем своем виде производит очень слабое впечатление. Еще большему ослаблению его способствует и то обстоятельство, что сын помещика, представленный, разумеется, образцом всех добродетелей, под конец оказывается очень недалеким господином. Зная крутонравие, тупоумие и зверство своего отца, зная

беззащитность бедной воспитанницы, зная, что никто не может противостать злобе помещика (дело происходит в поместье старика), – все-таки оставляет любимую девушку на произвол этого зверя, а сам уезжает от отца в Петербург, в самый день отъезда отказавшись от предложенной невесты и объявивши отцу о своей любви к воспитаннице. Правда, что он поехал с тем, чтобы устроить свои дела и потом возвратиться за своей Лизой (так как отец погрозил лишить его наследства в случае ослушания); правда, что он мог и не предвидеть столь крутого оборота дела, но все-таки он должен был знать, что положение оставляемой им девушки будет вовсе незavidно в доме его отца. Можно было бы позаботиться и о ней... Впрочем, мы замечаем это только затем, чтобы показать, как плохо вообще удаются нашим авторам образцы добродетели...

Повесть г. Жуковского «Петербургские ночи» – тоже дышит современным интересом. Большая часть ее занята описанием камелий высокого полета, находящихся под покровительством различных, очень государственных

ных и очень старых графов. Эти описания не по нашей части: может быть, они очень верны, очень художественны, очень глубоки. Мы даже почти уверены в этом, потому что г. Жуковский *сам* говорит в начале повести: «Говорят, что в Петербурге мало мужей, верных женам; я же *знаю* (!), что в нем еще менее жен, верных мужьям» (стр. 4). Каким образом *знает* г. Жуковский такое, можно сказать, *тонкое обстоятельство*, по собственному ли опыту или из верных источников, – вопрос довольно щекотливый. Но дело в том, что г. Жуковский знает и, следовательно, описывает верно; этим мы и довольствуемся по части камелий. Нас более интересуют другие стороны повести; в ней изображен, между прочим, Бобрищев, молодой и благородный человек, очень фразистый по обыкновению, и Бронницын, мерзавец, составляющий себе карьеру разными низостями и, между прочим, женитьбою на знатной девушке, племяннице и кузине двух десятков князей и графов, – находящейся в таком положении, что... долее скрывать невозможно... По поводу этих двух лиц изображается присутственный день в ка-

ком-то департаменте, и изображение это довольно резко, хотя все еще не совсем открыто. Но мы порадовались и тому уже, что в повести г. Жуковского идет речь, довольно прямая и ясная, – уже не о земском суде, не о несчастном квартальном, не о магистратском секретаре или о неопределенном каком-то уездном чиновнике, – а о столичных столоначальниках, начальниках отделения, директорах департамента... Это в первый раз, кажется, такая смелость в русской литературе. А уж давно пора бы нашим обличителям перенести свою наблюдательность от будочников и становых на сферы более значительные. Люди – везде люди и везде подвержены ошибкам; директора департаментов – тоже люди, следовательно, и они подвержены ошибкам. Силлогизм этот ясен и ни для кого не обиден. Возьмите вместо директора департамента кого угодно – хоть Наполеона или Петра Великого: и Наполеон был человек, следовательно, и он был подвержен ошибкам. Что же тут дурного? А если так, если директора департаментов действительно подвержены ошибкам, то почему и не говорить о них, почему и не ука-

зывать им, в чем они ошибаются? Если секретари уездных судов обижаются, когда их выводят в повести, так ведь это все *от необразования* больше делается; начальники же отделений, директора департаментов и т. д. – люди (предполагается) образованные и благонамеренные; следовательно, они и обижаться не будут, а еще поблагодарят нашу гласность... Что же, в самом деле, – гласность, так уж гласность, – «*не разбираючи лица...*»[7]. Не одним же столоначальникам в городском магистрате, не одним городничим и земским исправникам принимать на себя все неудобства гласности, не пользуясь ни одним из ее благодетелей... Если невозможно применять на деле святые слова о равенстве *всех* пред законом и пред судом общественного мнения, то пусть пока хоть в вымысле, в фантазии, в повести будет представляться и директор департамента и очень государственный граф, и т. п. Неужели прогресс нашей литературы и до этого еще не дорос? Вот посмотрим... Теперь пример подан в повести г. Жуковского, и мы нарочно останавливаем на ней внимание наших читателей, чтобы заявить этот первый

дебют автора на новой ступени обличения. Чтобы дать понятие о его тоне и степени силы, приведем несколько небольших отрывков.

Чиновники в одном из отделений какого-то департамента столпились в кучу и рассуждают о бале, который вчера задавал где-то граф и на котором был начальник отделения. Начальник отделения, еще не старый человек, ломается перед ними и, усевшись на стол, пересыпает из пустого в порожнее. Входит новое лицо – Режин.

– А, вот и Григорий Петрович, – сказал начальник отделения, протягивая руку только что вбежавшему чиновнику. – Как ваше здоровье; что нового, как дела, что его превосходительство и как граф после бала? – В ответ на такие вопросы Григорий Петрович Режин, высокий, сухой и смуглый мужчина, секретарь директора департамента, подал начальнику отделения свою жилистую руку, сказав с некоторой иронией, что его превосходительство ни свет ни заря изволит бесноваться у себя в кабинете; а что граф, вероятно,

сегодня не будет, потому что с полчасика тому назад экзекутор ездил, по приказанию его превосходительства узнать о здоровье, но что его сиятельство изволили еще почивать. – А вот полюбуйте, если это вас интересует, – прибавил он, вынимая из синей обертки, с печатным заголовком «к исполнению», какую-то бумагу. – Балы задавать своим содержанкам, это мы умеем, на это нам тысяч не жаль, а несчастному чиновнику просят пятьдесят рублей, так жалко. На это у нас достает духу написать: «Зачем же- нился, когда беден».

Все чиновники, стоявшие возле, въелись в бумагу, как мухи в мед. К ним подскочило сейчас же все, что было чиновничества в комнате, кроме канцелярских, отчего кругом начальника отделения произошла на минуту страшная давка. Заметив сумятицу, секретарь поспешил взять бумагу обратно из рук начальника отделения; вслед за тем набежавшая толпа также разом отхлынула, и кружок остался в прежнем составе.

– Вот поди после этого набирай чинов-

ников. Правда, что каторжнее нашего ведомства нет службы, – сказал секретарь.

– Везде один черт, – ответил начальник отделения, тряхнув головой и принимаясь зевать.

– А требования какие, боже ты мой! – продолжал Режин, который всегда был не прочь поговорить, а особенно о начальстве. – Намедни еще, я вам скажу, присылает за мной курьера на дом. Что за чертовщина, думаю? – А я только что сел обедать; так противно стало, что ложки не проглотил, выплюнул, И аппетит пропал. Прихожу. – По вашему, говорит, столу записка? – По нашему. – Нужно переписать. – Что такое? – Поля не по форме; да к завтраму непременно. – Помилуйте, говорю, кого же мне теперь заставить писать? Все чиновники по домам. Да и какая машина справится с таким письмом к завтраму? – Знать, говорит, не хочу. Граф не любит полей не по форме, а к завтраму чтоб было готово, хоть сами пишите. – Ну и поехал я сам отыскивать писарей. Никого не поймал. Еду уже назад, вижу,

на мое счастье, Чернецкий за какими-то дамами увивается. Начал ему так и так: отличиться-де можете, внимание начальства заслужить, карьера и т. д., ну, как обыкновенно. – Сил, говорит, нет, – грудь болит. – А по Невскому, говорю, шататься грудь не болит? Пожалуйте-ка в департамент... Ну, и переписал за одну ночь. Как он это сделал, до сих пор понять не могу. Что ж вы думаете? нужная записка до сих пор в кабинете на окне валяется.

– Как же вы хотите? на то служба, – возразил Междоумов. – С нас требуют, знать, и выше требуют.

– Какая служба! Фразеология одна, – сказал секретарь, – отчего при старом директоре этих требований не было? А этот только бесноваться умеет. Перед графом все: да да да, как прикажете, а потом прибежит в кабинет и рвет на себе волосы. – Ах, я несчастный; есть ли человек, которому хуже меня на свете? Есть, говорит, это жене моей. – А нам разве лучше? – Фразеология! – Нет, из-за этой фразеологии другие всю жизнь бьются и не

могут руки набить, – ответил Междоумов.

– Что ж из этого всего выходит? Ну, вот мы здесь собрались; спрашиваю я вас: что мы здесь делаем? разговариваем, и из этих разговоров, кроме брани свыше да распеканий, для нас ничего не выходит.

– Ну, как! есть же своя благородная и серьезная сторона в службе, – вмешался начальник отделения, – исполнение своей обязанности, наконец, желание пользы. Зачем же вы иначе служите?

– Есть хочу, батюшка, да и вы тоже, – отвечал секретарь. – Вот моя польза и мои обязанности, если хотите знать: не успеешь глаз продрать, Николай Иванович зовет; сядешь обедать, Николай Иванович зовет. А зачем? – Принесите мне это письмо в 6 часов и напомним отвезти его туда-то. – Придите ко мне в 4 часа напомним, что граф приказал мне съездить туда-то. – У графа на даче щенки перебежались, что нам делать? Скажите скорее туда. – Только и покоя, когда знаешь, что лег в постель.

Целая глава занята в «Петербургских но-

чах» изображением занятий чиновников в департаменте, и все это изображение очень живо. Есть несколько черт, повторенных из Гоголя, из «Утра делового человека»; но есть и новые, самостоятельные наблюдения автора. Нам показалось любопытным то, что автор, как видно из некоторых разговоров Бобрищева, не успокоивается на изображении всей этой дряни, а ищет исхода из омута, который сам же изображает. Исхода этого он, разумеется, не находит, потому что ищет его, кажется, не совсем в той стороне, где нужно. Но вот какие речи говорят друг другу Режин, уже довольно послуживший чиновник, и Бобрищев, только что начавший службу.

– Как вспомнишь, даже смешно станет, – сказал Режин, – как вы расходились, когда у нас был первый разговор с вами. Теперь, говорит, служба не то, что была прежде. Чиновники совсем другие, люди образованные, современные, все служат делу... Поверьте мне, люди всегда как люди, а с ними и обман. На крики ума у всякого хватит. Дела только, жаль, из пустословия не выжмешь; не то что дела, даже наше-

го безделья из него не состряпаешь. Ну вот, вы, может быть, пользы хотели; что, каково с ней служится?

– Отчего ж не послужить, наконец, – ответил Бобрищев, – пока нервы еще здоровы? они тверже и легче переносят все неприятности; для них многое нипочем, что невыносимо для человека, узко раздраженного. Будто нет уж, наконец, ни одного человека, который служил бы из влечения к делу?

– Опять за старое, – возразил секретарь, – где же вы видели таких служаек? не эти ли молодцы, что буквы ять хорошенько не вытвердили да лезут вперед через все преграды? У них ли есть влечение к делу, по-вашему? Я вот служу, так у меня нет никаких влечений; мне вот прикажут такого-то выгнать, потому что он из куска хлеба служит, а на его место посадить вот этого, потому что он на службе про пользу разговаривает, а дома платки подаст, к начальству в гости ездит, около бабья трется и рекомендательные письма вымаливает, – я и пишу, и все напишу, что ни прикажут.

В ответ на желчные выходки Режина Бобрищев говорит: «Положим, что все скверно и подло; но ведь это нас с вами не оправдывает на бездействие. Нужно же иметь сколько-нибудь хоть упрямства, если не характера». Режин отвечает на это: «Было бы для чего; а то надсадить кулак недолго, да проку-то от этого мало». Затем он читает Бобрищеву такую мораль:

Молодость лоб подставляет под все, что хотите; оно хорошо, да бесполезно. Она ничего не хочет принять дурного; ей подавай одну добродетель. Славная вещь добродетель, спору нет, и молодой человек – славная вещь, да жить-то с ней одной нельзя. Пока сидишь за школьной скамьей, – ну, оно и ничего; а когда сунешься промеж добрых людей, оно и выходит, что или пропадай, или с чертом знакомься. Будь подлецом и вместе с тем сумей остаться порядочным человеком. Вот эквилибристика нашей жизни. А вы вот этого понять не хотите; всё ищите брать прямо способностями да благородством. Разве наши дела стоят способностей?

Есть у вас крупная, состаревшаяся бездарность – дайте ее сюда; а есть у вас способности, – проходите далее; зачем их губить попусту. Кажется, ясно?

– Куда же дальше? – спросил Бобрищев. – Разве везде, кроме своей комнаты, я не попаду в то же колодки и не принужден буду, как лакей, согнуть шею; да и там еще нас предостерегали с детства быть молчаливее теней.

– Учитесь в таком случае нашей эквилибристике.

– Как ни кинь, все клин, стало быть, один разврат остается свободен, – кончил молодой человек, невольно забываясь и не выдерживая спокойного голоса... (стр. 26).

Рассуждения Режина подходят, конечно, к той морали, которую проповедует г. Ефим Дымман в своей «Науке жизни»[8]. Бобрищев возражает, как видите, с точки зрения зеленоватого либеральства. Не мудрено, что оба скоро сходятся в результате: Режин махнул рукой на все и сделался циником служебной безнравственности; и Бобрищев тоже махает рукой на все и готов сделаться жрецом этого

разврата, который *один свободен*. Оба – не герои, как оказывается; Режина можно даже положительно назвать негодяем, с отвлеченной точкой зрения. Но к чести автора надо сказать, что он умел понять это лицо более живым образом: в его изображении чувствуется протест не против личности Режина и его поступков, а против жизни, которая сделала его таким. Такое поставление личности Режина доказывает, что автор или в значительной степени обладает художническим тактом, или добился таких выводов силою размышления. Судя по исполнению всей повести, мы не сомневаемся, что последнее предположение справедливее. Но в таком случае мы пожелаем автору, чтобы он не остановился на безвыходных сожалениях своих героев, а додумался за них до какого-нибудь решения.

«Было бы для чего действовать, а то надсадить кулак недолго, да проку-то от этого мало».

Так говорит у г. Жуковского Режин, и в словах его нельзя не признать некоторой доли справедливости. Но в том-то и задача общественного деятеля, чтобы не надсаживать ку-

лака понапрасну, а бить прямо по больному месту современного общества. Наша общая болезнь состоит в недостатке личной самостоятельности, в расслаблении воли; поэтому общественный деятель прежде всего должен укрепить свою волю против всех внешних соблазнов и посторонних покушений, должен, сознавши условность и несправедливость существующих в обществе отношений и обычаев, сознать и то, что он должен решительно оградить себя от них и идти на их ниспровержение, чего бы это ни стоило. Явись подобная мысль в сознании Бобрищева или Режина, — разговор их принял бы не такой оборот: с первых двух слов согласившись в гадости и подлости окружающего их порядка, третьим словом они бы сделали уже вопрос: «Какими средствами изменить этот ненавистный для них порядок?»

Вообще говоря, повесть г. Жуковского может навести на хорошие мысли, хотя сама повесть и не может быть названа хорошею. Она длинна, скучна, наполнена сентенциями, не имеет никакой цельности, никакой внутренней связи и, будучи основана на любви Боб-

рищева к падшей, но благородной женщине, исполнена мелодраматизма. Мы о ней не стали бы и говорить, если бы в ней не обнаруживалось, что автор – серьезно мыслящий человек, и если бы в ней не заметили мы образчика обличений несколько в новой сфере.

Нас многие обвиняют, что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью; но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого-то ведь и смех наш происходит: мы хотим более цельного и основательного образа действий, а нас потчуют какими-то ребяческими выходками, да еще хотят, чтоб мы были довольны и восхищались. Мы каждый день, чуть не каждый час, должны претерпевать следующую историю. Нужно нам ехать из Петербурга в Москву; дорога известная, хлопот немного, и мы очень спокойно собираемся в путь. У самого дебаркадера встречает нас услужливый приятель, который тоже едет по железной дороге, и предлагает за нас похлопотать – и билеты взять и вещи отпра-

вить. И действительно, приятель все устроивает, мы садимся в вагон, спрашиваем у приятеля билеты, – оказывается, что билеты взяты им только до Колпина, и вещи тоже до Колпина отправлены. «Зачем ты это сделал?» – спрашиваем его. Он вдруг делается недоволен, обижается и начинает толковать, что мы любим скачки, хотим все делать вдруг, что, ехавши в Москву, Колпина не миновать, что нужно прежде всего думать о ближайшей цели, а потом уж, приехавши в Колпино, заботиться о том, как ехать дальше. Разумеется, все это смешно слушать, когда знаешь, как эти вещи обыкновенно делаются на железных дорогах. Но, по слабости характера, мы позволяем приятелю еще раз распорядиться нашими деньгами и взять для нас билеты в Москву; а он пойдет да опять возьмет – до Любани. И опять начнет ту же философию о постепенном подвигании вперед. Да этак-то всю дорогу!.. Да если еще вся жизнь в беспрестанной езде проходит! Да если видишь, что услужливый приятель, потеряв кредит у нас, к другим обращается и с другими каждый раз такие же проделки повторяет, с теми же рас-

суждениями!.. Поневоле иной раз рассмеешься и поглумишься, хоть и невесело... А добрые люди из этого бог знает что выводят! Говорят, что мы пользы железных дорог не признаем, в дружбу не веруем, промежуточные станции хотим уничтожить...[9]

Впрочем, видя беспрестанно людей, плетущихся от станции до станции, мы даже отчасти примиряемся с ними и смеемся только уже тогда, когда они принимаются наивно восхвалять свой образ путешествий. И в этом случае мы уже с любовью смотрим на людей, которые утверждают, что не нужно менять билет на каждой станции, можно запасаться им на две и на три или даже взять один билет до Бологова, например. Мы тотчас самым радужным образом приветствуем таких людей, питая сладкую надежду, что, может быть, они придут наконец и к тому убеждению, что можно и прямо в Москву брать билет из Петербурга. Так в настоящем случае приветствуем мы и г. Жуковского, который едет, кажется, чуть ли не до Твери или по крайней мере до Вышнего Волочка с одним билетом. При этом мы только советуем ему в будущих

путешествиях – не брать с собой дрянного и ненужного багажа, которым загромождена его нынешняя повесть.

Но г. Жуковскому даже вовсе и нужды нет писать повести; у него есть занятие, обещающее, кажется, быть гораздо более благодарным для него. Он с успехом может заниматься русской историей и правом, как свидетельствует статья его, также помещенная в «Весне»: «Общественные отношения России с точки зрения исторической науки права». Статья эта любопытна в том отношении, что тоже представляет искание выхода из тех недоумений, которые возбуждаются в каждом мыслящем человеке настоящим порядком дел. Нам кажется, что г. Жуковский довольно близко подошел к выходу; но мы не знаем, видит ли он сам этот выход. Статья его представляет, собственно, очерк истории крепостных отношений в России и указание на их значение в жизни русского народа. Смысл всей статьи в том, что *на этом праве или на этих отношениях выращена веками вся общественная организация России, вся ее цивилизация и государственность* (стр. 255). В объяснение своей

мысли автор делает маленький параллель между нашей и европейской историей и находит следующую существенную разницу. В европейской истории, как и у нас, государство образовалось централизацией, но «в государствах Западной Европы централизация выростала, опираясь на угнетение частновладельческих начал: в России же она выростала, именно опираясь на эти начала» (стр. 255). Порядок мыслей, доказывающих у г. Жуковского это положение, следующий. Централизирующим началом был у нас элемент пришлый, варяжский; но отношения, в которые с самого начала княжеский род и дружина стали к славянскому быту, были лишены поземельного характера и оставались долгое время чисто личными. При обширности земли и при ее малонаселенности она ничего не стоила, и потому в древней Руси ценилось постоянно не пространство владеемой земли, а большее или меньшее количество людей, поставленных в личную зависимость от князя или вообще владельца. Народ не сидел на одном месте; крестьяне очень часто бросали свои участки и переходили на другие, более

удобные; земля же, оставленная впусте, не могла иметь никакой цены. Отсюда в князьях постоянно замечается забота о том, чтобы как можно более вытребовать подати и всякого рода поборов, без всякой заботливости об упрочении благосостояния земства. Они знали, что земство это – сегодня здесь, а завтра может уйти, и потому хлопотали единственно о том, чтобы не выпустить из рук сегодняшней своей доли. Поэтому и само управление приняло кочевой характер, и, в противоположность Европе, с самого начала развилось у нас кормление, а не поземельная собственность. Служилое сословие тоже кочевало, переезжая от князя к князю. Оседлость самих князей начинается со времени Владимирского княжества, и тут же организуется поземельный сбор по сохам, вытям и пр., взимаемый с общины. При сборе этом князья воспользовались первобытной общиной, существовавшей у славян, и заставили ее уплачивать поземельную подать, несмотря на выбывавших членов. Это обстоятельство помешало, разумеется, дальнейшей организации у нас общин, так как население еще не имело

прочных начал для развития у себя земского самоуправления, а князья старались наложить как можно крепче свою руку на общину. Отсюда происходят постоянные жалобы крестьян, что им невмочь платить за всех выбылых членов общины, и, наконец, – переходы целых селений с одних участков на другие. Вместе с тем и кормленщики, получавшие от князей округи в кормление на известных условиях, тоже должны были бродить с места на место и нередко отъезжать от одного князя к другому. Разумеется, они не оставались равнодушными к собиранию подати с земства и постоянно старались содрать как можно больше; отсюда беспрестанные жалобы древней Руси на бесконечные притеснения и открытый грабеж бояр и чиновников княжеских. Вотчинное право начинается, собственно, избавлением земель – сначала монастырских и духовных, а потом и частных лиц – от влияния кормленщиков; затем, для отвращения своеволия и переездов бояр, является уже раздача им самим вотчин, вместо кормления. Но вотчина могла быть выгодна только при возможности владеть ею обеспе-

ченно; а между тем при возможности перехода крестьян от одного помещика к другому не было никакого обеспечения для владельца. Отсюда вместе с уничтожением удельной системы начинается со стороны центральной власти ряд мер, противодействовавших переходу крестьян и все более скреплявших союзы князей с боярами и всякими служилыми людьми. Связь двух этих обстоятельств г. Жуковский выражает таким образом:

На первом плане в противоречии с великокняжеской властью стояли слуги и бояре, сильные своим правом отъезда и мелкими родовыми притязаниями. Права последнего рода образовались от чинов и должностей дворцового управления, сделавшихся наследственными. Родовая честь возникла здесь сама собою, приблизительно на тех же основаниях, на которых держится холопская гордость в частных вотчинах. Сын камердинера хочет быть не меньше как лакеем, и т. д. Центральная власть сломала эти мелкие, но упорные сопротивления и провела лично-зависимые отношения к служилым людям до крайнего результата, обра-

тив бояр в холопов. Но зависимость эта все-таки была недостаточна, основанная преимущественно на политической силе, она не имела материальной опоры в самых социальных отношениях этого класса, а потому все-таки, как чисто личная зависимость, была шатка и ненадежна. Главным определяющим условием, как в отношениях служилых людей к верховной власти, так и в отношении земства к этому классу, должна была сделаться земля.

Тогда только могла родиться крепкая, надежная связь между этими общественными элементами, а верховная власть – поставить в прочную зависимость от себя все состояния и успешно действовать на них. Для этого нужно было, во-первых, прикрепить крестьян к земле; во-вторых, обложить право владения такими населенными землями обязательством царской службы.

Ограничения перехода видны во многих договорах московских князей; срок перехода определен в XV веке в «Судебнике» Иоанна III;

меры закрепления являются с конца XVI века. Раздача вотчин тоже начинается с XIV века; в XVI усиливается и переходит из пожалованья уже в простую продажу, затем являются поместные оклады; так что в XVII столетии свободной казенной земли осталось уже чрезвычайно мало.

Сделав этот исторический очерк, не богатый фактическими подробностями, но группирующий факты, уже известные, несколько иначе, чем как это делалось прежде, г. Жуковский делает следующее заключение, которое, несмотря на очень тяжеловатую форму изложения, любопытно по некоторым из содержащихся в нем соображениям:

Таким-то образом к XVIII столетию сложилась на крепостных основаниях общественная жизнь России, и сложилась притом принудительно. Основания эти, как мы видели, не были следствием социального брожения, достигшего известных форм кристаллизации, если можно так выразиться, свободным произведением той союзной силы, более или менее присущей историческому народу, которая посто-

янно творит и разлагает, переливая нравственный быт данного народа из одной формы в другую, и в силу которой государство вырастает само собою из социальной почвы, как было там, например, где эта союзная сила была особенно присуща народному характеру, где народ, можно сказать, сам творил свою жизнь и где поэтому внешние события его жизни как политического тела всегда лежали на сердце этого народа. У нас, напротив того, союзная сила была слаба настолько, что она не могла сложить нашей жизни сама от себя. На западе России, где первые формы общежития в виде родовых общин явились как непосредственное данное, эти формы не могли развиваться далее самостоятельно. Сознывая свое бессилие, они сами призывали на себя внешнюю, централизующую власть, в бесплодной борьбе с которой потом прошел блестящий период их существования, кончившийся политической смертью жизни, занявшейся здесь довольно шумно; а внешняя власть, в свою очередь, томясь в бесплодных спорах с историческим со-

держанием местной жизни, была отброшена на восток России и здесь заложила свой централизирующий лагерь, перед которым в половине XVI века положила оружие беспокойная жизнь удельной России, кончая Новгородом и Псковом. Но здесь централизация не могла стать на степень народной власти и заложить среди всеобщего брожения народных масс, среди жизни кочующей, разложенной почти до просто собирательного отношения лиц, своеобразных общественных союзов, не наложив ярма крепостных отношений на все лица и состояния.

Таким образом, укрепление не ограничивалось одними крестьянами, а распространялось и на служилых людей; словом, им разрешался общий вопрос оседлости общественных масс – образования тех прочных поземельных отношений, которые не могли установиться сами собой, по малоценности земли, и образование которых, во всяком случае, было необходимо для крепости государства и централизации. После этого понятно, какую роль должен был играть в развитии русской со-

циализации крепостной союз. Заложенный в корень общественных учреждений, он поневоле должен был проникнуть все стороны жизни, имея задачу вынести на своих тяжелых крыльях русскую жизнь из средневекового брожения в деятельность настоящего и прошлого столетий и дать России ту внутреннюю крепость и силу, которые позволили ей играть такую роль в судьбах Европы. Здесь фактами русской истории договорились мы до того положения, что государство должно опираться непременно на соответствующие ему формы социализации, а где этих форм не подготовила история, там государство, налагаясь сверху, неизбежно создает само себе своеобразную социальную почву. Такую-то социальную почву подготовила себе у нас центральная власть. И теперь она была сильна, она была народна и социальна потому, что народ принял как нельзя легче эти крепостные основания; бояре и земледельцы – все стало в поземельно-крепкие отношения к центральной власти.

С тех пор прошло почти два столе-

тия. Русская жизнь, утвержденная на таких основаниях, все крепче и тверже привязывалась к ним, проводя и развивая их внутри себя до последних крайностей. Она не сделала шага в сторону от крепостных связей; напротив того, власть помещиков над крестьянами становилась все тверже, а они оставались все теми же усердными слугами центральной власти. Эта власть пробовала освободить их от обязательной службы, но обязательство это осталось социально во всей силе. Вместо с указом, разрешившим обязательную службу, вышли на сцену ордена, которые, вместе с чинами и опасением лишиться дворянского достоинства и поместья, в случае неслужения двух дворянских поколений сряду сделали то, что для дворянина поныне считаются возможным только два состояния: служба или управление своим поместьем. Та же власть пробовала вывести дворянство отчасти из его личного разъединения и дать ему вид и принадлежности сословия. Обращаясь затем к дальнейшей деятельности центральной власти, мы

видим, что, совершив дело общего закрепления, она оставила общественную жизнь развиваться по этим основаниям, а сама бросила Москву, бросила старую Россию и зажила европейской жизнью. Она имела свое XVIII столетие, свой век военных побед и внешней силы и славы, свою придворную хронику, свою литературу даже. Среди беспорядков, наполняющих историю первой половины настоящего столетия на западе Европы, она безбоязненно торжествовала, отдыхая на своих орлах, славу своего оружия и политическую силу. Но не оружие и не штывки дали ей эту крепость и силу, их дали те социальные основания, на которых держалась общественная жизнь народа, которым она правила. В виду всего сказанного, в виду той роли, какую играли у нас вотчинные отношения, спрашивается теперь, можно ли смотреть на вопрос о них у нас как на застаревшее право, за пределы которого давно перешло социальное развитие страны, как на частное дело крестьян и помещиков? Не ясно ли только одно из предыдущего – что

ближайшие результаты этого дела не разрешают еще вполне вопроса наших общественных отношений.

Итак, заключительное слово г. Жуковского то, что вопрос еще *не разрешается вполне*. Конечно, так; но из фактов, выставляемых самим г. Жуковским, ясно, кажется, что решение близко и что оно должно быть не в пользу централизации. По словам самого же г. Жуковского, «централизация подготовила себе социальную почву в крепостных отношениях и на этой почве могла спокойно строить свое внешнее могущество». Из этого можно бы, конечно, вывести заключение, что крепостные связи, глубоко укоренившись в русской жизни, должны оставаться неприкосновенными, как опора русского политического могущества. Но заключение это было бы справедливо только в том случае, если принять, что эти отношения вполне устраивают благосостояние народа и приходятся ему по духу и по нраву; а сам же автор статьи сознается, что указанная им *социальная почва* подготовлялась единственно в интересах центральной власти, а никак не в выгодах земства и что

общественная жизнь России на крепостных основаниях сложилась *принудительно*, только вследствие отсутствия союзной силы в народе. Поэтому мы можем сказать, что социальное развитие страны вовсе не имеет надобности *переходить за пределы* наложенных на народ отношений, потому что оно никогда и не входило в эти пределы: *ближайшие результаты*, о которых говорит г. Жуковский в конце статьи, доказывают, что общественная жизнь народа уже не держится на тех социальных основаниях, которые созданы у нас централизациею. Значит, для народной силы нет никакой опасности от изменения этих оснований. Они нужны были для централизации и принудительно наложены ею на народ; но когда централизация совершилась и не нужна более для народного могущества, тогда естественно должны падать и опоры, на которых она держалась. На этом основании в вопросе, рассматриваемом г. Жуковским, мы, вовсе не заботясь о централизации, совершенно отделяем ее дело от дела народа. На стр. 273 г. Жуковский непомерно восхищается централизациею, говоря, что «ни один народ

Европы не обязан ей столько своим развитием, как русские» и пр. ... Но мы с ним в этом случае должны несколько разойтись. В прошлом месяце (в статье г. Чернышевского о г. Чичерине)[10] высказано было в «Современнике» мнение о французской централизации и, между прочим, показано, должно ли считать народ *обязанным* централизации за что-нибудь. Отсылая читателей к этой статье, мы здесь ограничимся замечанием, что и к истории Московского княжества можно относить некоторые из объяснений, сделанных г. Чернышевским относительно французской централизации. Впрочем, и сам г. Жуковский почти подтверждает это в тех местах статьи, где он говорит, что центральная власть действовала единственно в своих интересах... Да и невозможно, чтоб г. Жуковский вообще был поборником централизации: в его же собственной повести так ярко выставлены некоторые из нелепостей, происходящих вследствие ее!.. Он восхваляет ее, конечно, только в смысле исторического стимула народной жизни; но и то, по нашему мнению, несправедливо. Впрочем, вопрос этот может быть

еще предметом многих рассуждений. Мы теперь заговорили о нем только потому, что нам хотелось бы, если возможно, предостеречь г. Жуковского от односторонних увлечений, в какие впадают иногда наши ученые, как, например, г. Чичерин. Вообще мы сочли нужным с некоторою подробностью рассмотреть оба произведения г. Жуковского в «Весне», потому что автор их, в первый раз, кажется, встречающийся нам в печати, принадлежит к таким явлениям в нашей литературе, которых не следует пропускать без внимания.

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БДЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1859, № 6, отд. III, с. 307–325, без подписи.

В рецензии на эклектичный по составу сборник «Весна» Добролюбов продолжил полемику с «сибаритским» направлением «чистого искусства» и одновременно с либеральной идеологией. В последнем отношении рецензия особенно примечательна, если учесть, что написана она под свежим впечатлением от статьи Герцена «Very dangerous!!!» (см. о ней наст. т., с. 726–727). О содержании герценовской статьи Добролюбов узнал от Некрасова 5 июня 1859 г., то есть за неделю до цензурного разрешения шестого номера «Современника», и в тот же день записал в дневнике: «Однако хороши наши передовые люди. Успели уже пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы они слышались и в каких бы формах ни являлись. Теперь уж у них на уме мирный прогресс

при инициативе сверху, под покровом законности!» (VIII, 570). В данной рецензии Добролюбов в иносказательной форме сумел выразить свое отношение к колебаниям Герцена в сторону либерализма. Критический разбор повести Ю. Жуковского «Петербургские ночи» Добролюбов превратил в глубокий социально-психологический анализ «общей болезни» «расслабления воли» и завершил его революционным по смыслу выводом.

Критик высказал также свое отношение к проблеме централизации государственной власти в России, обсуждавшейся в это время в исторической литературе. Вслед за Чернышевским Добролюбов занимает позицию, отличную от либеральной историографии, признававшей прогрессивность централизации. Добролюбов предлагает иной критерий оценки исторически сложившихся государственных систем: насколько они «устроивают благосостояние народа и приходятся ему по духу и по нраву». В суждениях Добролюбова сказался, однако, и определенный недостаток историзма: отрицание им даже относительной прогрессивности централизации в опреде-

ленных исторических условиях (в частности, игнорирование положительной роли московских князей в создании национального единства) было ошибочным. Добролюбов разделял это убеждение с Чернышевским (см.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. 2. М., 1960, с. 61).

Комментарии

Добролюбов, очевидно, имеет в виду замечания Н. Ахшарумова о художественной противоречивости образа Калиновича. Искажение, считал тот, вносит авторская тенденция непременно оправдать героя и обвинить среду, общество (с. 309, 339–341).

[^^^]

Ахшарумов подробно анализирует характер Лизы, считая ее определяющей чертой «религиозность», и объявляет неудавшимся образ Лаврецкого, якобы лишенного индивидуальных черт.

[^^^]

В этой статье Н. Д. Ахшарумов, признавая в целом закономерность «реального направления» в современной литературе, все же заявлял: «Искусство готово служить и временным интересам, готово работать, как труженик, на пользу общественную; но ему тесно и душно в рабочих домах. Оно чахнет и вянет от этих услуг и быстро теряет всю свою прелесть» (03, 1858, № 7, с. 306).

[^^^]

4

Неточная цитата из «Оды к Фелице» (1782).

[^^^]

В своей рецензии на «Весну» Ап. Григорьев поддержал эту оценку Добролюбова и отказался писать о «странных промахах» Н. Ахшарумова, поскольку они «замечены уже другим, преимущественно остроумным рецензентом «Современника» (*РСЛ*, 1859, № 8, отд... II, с. 57).

[^^^]

6

Речь идет о сборнике «Утро» (М., 1859; см. рецензию на него в наст. т.).

[^^^]

Выражение из басни Крылова «Волки и овцы» (1832).

[^^^]

См. об этой книге статью Добролюбова «Новый кодекс русской практической мудрости» (в наст. т.), напечатанную в том же номере «Современника».

[^^^]

9

Весь абзац (со слов: «Нас многие обвиняют») – ответ на герценовскую статью «Very dangerous!!!» (см. преамбулу).

[^^^]

В статье «Г. Чичерин как публицист» доказывалось, что абсолютизм во Франции был выгоден лишь дворянам и ложился тяжким бременем на простолюдинов (Чернышевский, V, 655).

[^^^]